

## Рецензии

---

УДК 930.1(049.32)

DOI: 10.28995/2073-6401-2019-8-277-285

Валерий Д. Губин

### История и социальная память

(Рецензия на: Историческая память и российская идентичность / Под. ред. В.А. Тишкова, Е.А. Пивневой. М.: РАН, 2018. 508 с.)

*Российский государственный гуманитарный университет,  
Москва, Россия, goubin@list.ru*

*Аннотация.* Работа посвящена анализу механизмов и исторических траекторий формирования национальной идентичности в различных странах на разных этапах истории; уровней и форм коллективных идентичностей (гражданской, этнической, религиозной, регионально-локальной); факторов этнокультурного развития и принципов самоопределения в современных условиях. Большое внимание уделено изучению исторического опыта сосуществования носителей разных культур.

*Ключевые слова:* социальная память, историческая память, политика памяти, идентичность, живая истина

*Для цитирования:* Губин В.Д. История и социальная память // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2019. № 3. С. 277–285. DOI: 10.28995/2073-6401-2019-8-277-285

Valery D. Gubin

### History and social memory

(Review on: Historical memory and Russian identity / V.A. Tishkov, E.A. Pivneva (eds.). Moscow: RAS, 2018)

*Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia, goubin@list.ru*

*Abstract.* The work is devoted to the analysis of mechanisms and historical trajectories of the formation of national identity in different countries at different stages of history; levels and forms of collective identities (civil, ethnic, religious, regional-local); factors of ethnocultural development and

---

© Губин В.Д., 2019

principles of self-determination in modern conditions. Much attention is paid to the study in the historical experience of the coexistence for carriers of different cultures.

*Keywords:* social memory, historical memory, politics of memory, identity, living truth

*For citation:* Gubin, V.D. (2019), "History and social memory (Review on: Historical memory and Russian identity / V.A. Tishkov, E.A. Pivneva (eds.). Moscow: RAS, 2018)", *RSUH/RGGU Bulletin. "Philosophy. Social Studies. Art Studies" Series*, no. 3, pp. 277-285. DOI: 10.28995/2073-6401-2019-8-277-285

В 2015–2017 гг. в Отделении историко-филологических наук РАН выполнялась 3-летняя Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Историческая память и российская идентичность», которая проводилась с целью междисциплинарного анализа феномена исторической памяти и ее роли в формировании национального самосознания (идентичности). Книга, как пишется во введении, является итогом реализации программы, в которой приняли участие историки, этнологи, социологи, филологи, философы, архивисты. Основные исследовательские задачи программы включали в себя: изучение феномена исторической памяти в общественной жизни прошлых и современных государств, в процессах нациестроительства, а также в геополитических соперничествах; изучение культурной сложности современного мира и современных наций-государств; выявление условий и механизмов формирования российского национального самосознания на основе исторического опыта и культурных достижений российского народа.

В книге три раздела: историческая память, российская идентичность, историописание и память. Авторы – известные в своих областях ученые – создали яркий и интересный труд, где, наряду со строгими теоретическими выкладками, много поучительного, популярного материала, часто удивляющего неожиданными открытиями.

Как отмечает В.А. Шнирельман в статье «Социальная память – вопросы теории», уже более века перед историками стоит вопрос: является ли история наукой – т. е. точным знанием, выраженным в системе доказанных истин, источником объективных сведений о прошлом или таковым обладает лишь живая память человека, память народа или группы. Исчезновение идеологической трактовки истории вернуло прошлому свободу, неопределенность, весомое присутствие в настоящем – как материальное, так и нематериаль-

ное. Стала утверждаться претензия на истину более «истинную», чем истина истории: воспоминания о пережитом. Но чем дальше мы во времени от вспоминаемого события, тем меньше живых свидетелей, живой памяти. Остается только коллективная память, записанная в книгах, воспроизведенная в исторических текстах. Имена, даты похожи на надгробные надписи, а история – на кладбище, где пространство ограничено и все время надо искать место для новых могил. (М. Хальвакс). Некоторые воспринимают эту коллизию как столкновение «истории» с «памятью», где первой приписываются объективный разносторонний взгляд и сбалансированная оценка, а вторую отличают редукционизм и обращение к «мифическим архетипам».

К тому же индивидуальная память опирается не на выученную, а на прожитую историю, и поэтому она недолговечна. Социальная же память (часто для этого используют термин «коллективная») содержит идеализированные и упрощенные символические образы, принадлежащие уже не лично индивиду, а группе. Их индивид не столько вспоминает, сколько представляет.

Разные события прошлого, пишет автор, получают в обществе разный отклик: события нейтральные или отдаленные в пространстве и во времени, относящиеся к другим народам и культурам, встречают спокойный прием, но то, что имеет прямое отношение к идентичности данного индивида или данной группы, а также к национальным святыням и ценностям, вызывает бурные эмоции и нередко трактуется не столько рационально, сколько иррационально. А это ведет к конфликту исторических интерпретаций и к «войнам памяти».

Некоторые воспринимают эту коллизию как столкновение «истории» с «памятью», где первой приписываются объективный разносторонний взгляд и сбалансированная оценка, а вторую отличают редукционизм и обращение к «мифическим архетипам».

Умелое использование истории с помощью современных технологий может привести к подавлению «историзма» и процветанию политизированных исторических мифов. Это часто называют «политикой памяти», «политикой идентичности» или «исторической политикой». Кроме того, речь идет об активном участии современных историков в «культурных войнах». Государство играет огромную роль в создании того, что Пьер Нора назвал «узлами памяти», т. е. в отборе ключевых событий прошлого, которым «национальная история» придает особый смысл. Обозначив такое событие, государство делает все, чтобы закрепить его в памяти общности, причем в нужной государству версии. Это событие входит в школьные учебники истории, освещается СМИ, отража-

ется в произведениях искусства и внедряется в массовые представления с помощью кинопродукции и визуальной пропаганды (пример – «День национального единства» 4 ноября).

Следовательно, делает вывод автор, обобщая идеи Ле Гоффа, Хаттона, Хальвакса, Нора, Верча и др., между профессиональной историей и социальной памятью лежит не резкая граница, а переходная зона, где они вступают в сложный и неоднозначный диалог, продуктом которого являются версии истории, включающие и те, и другие элементы, обладающие равной долей объективности и мифологичности.

Иной раз политические взгляды историка оказывают прямое воздействие на то, какие сюжеты он выбирает для изучения, как именно он излагает события, как отбирает факты, на что делает акцент, а что оставляет в тени, и, разумеется, на то, как он оценивает описываемую коллизию. По этой причине два разных историка могут настолько расходиться в описании ключевого события, что у читателя возникает впечатление, что речь идет о совершенно разных событиях. Достаточно сослаться на историю революции и гражданской войны в работах советских историков и историков-эмигрантов [Тишков, Пивнева 2018, с. 16].

В еще большей мере, пишет автор, это проявилось в России на рубеже 1980–1990-х гг., когда отказ от идеологического диктата и отмена цензуры привели к появлению лавины новых версий истории, которые ранее подвергались гонениям и замалчивались. Речь шла и о полном пересмотре советской версии истории, но это происходило по-разному в отношении разных исторических событий: если советская версия гражданской войны подвергалась кардинальной ревизии, то ничего подобного с образом Великой Отечественной войны не происходило. Поэтому, оценивая исторический нарратив, следует всегда сознавать, из чьих именно уст он исходит и в какой конкретной обстановке и для какой аудитории излагается. В этом отношении перед нами всегда стоит проблема «полезного прошлого», которая с железной последовательностью проявляется в социально чувствительном историческом нарративе.

Таким образом, – делает вывод автор, – социальная память выполняет множество функций: она формирует идентичность, создает почву для общественной консолидации или, напротив, для раскола, рисует образ чаемого политического устройства, помогает вспомнить о героизме предков и их моральных устоях, предлагает картину золотого века, подводит основу под политические союзы, конструирует образ

врага и предлагает язык для обсуждения общественно значимых проблем. При этом она не сводится к какой-либо одной версии прошлого, а предлагает на выбор целый букет разнообразных версий [Тишков, Пивнева 2018, с. 45–46].

В разделе «Историческая память и российская идентичность» особенный интерес вызывает работа М.Е. Илле «Образ настоящего петербуржца в массовом сознании горожан».

Идентичность уже три века является проблемой для России. Видимо, русских никогда и не было, а всегда были тамбовские, курские, смоленские люди. Быть просто русским было невозможным для человека. Люди прятались за свою идентичность, которая их укрывала и в каком-то смысле охраняла. Подобным образом в СССР они даже на бессознательном уровне не хотели быть «советским народом», «простым человеком» или даже «россиянином», потому что это названия идеологические и они прятались за свою городскую или региональную идентичность. Впрочем, появился этот феномен с появлением Петербурга, раньше и городов в строгом смысле не было. Были крепости, окруженные рынком. И сразу возникла масса проблем. Петербург был первым городом в западном понимании этого слова. У одних он вызывал ненависть как построенное на костях сооружение, город-морок, город как царство Антихриста, у других – зависть благодаря близости к власти, возможности сделать быструю карьеру. Это был особый город, и особое отношение к нему сохранилось до сих пор, несмотря на то что он давно уже не является ни имперской столицей, ни культурной. Его особость выражается и в языке, в особом произношении, и стиле жизни, типах поведения, уровне образования.

Можно констатировать, пишет автор, что уже с первой половины XIX в. возникает понимание особенности стиля поведения петербуржцев; эта особенность описывается, как правило, через противопоставление московскому стилю жизни и поведению. Основные черты стиля поведения петербуржцев, такие как воспитанность, вежливость, аккуратность, сдержанность, порядочность, рациональность, замкнутость, на протяжении длительного времени являются устойчивыми, о чем свидетельствуют литературные источники.

Трансформация российского общества, начатая в конце 80-х гг. XX в., вызвала необходимость ломки привычных форм мышления и поведения, закрепления в сознании значительной части населения другой нормативной модели жизнедеятельности, актуализируя проблему идентичности. Региональная идентичность – это

сложный социокультурный феномен, включающий в себя нормы и образцы поведения, предписываемые индивиду традициями, обычаями, условиями совместной жизни на той или иной территории. С другой стороны, всегда есть люди, выступающие против традиций и традиционного уклада жизни.

В Петербурге с его мифологией, включающей в себя обостренное ощущение своей особенности, непохожести на остальную Россию, вопрос региональной идентичности особенно актуален. Для исследователей появляется необходимость в идеальном образе петербуржца, идеальном типе, по Веберу, который живет в сознании горожан и который является своеобразным эталоном «петербуржскости» [Тишков, Пивнева 2018, с. 432].

Автор приводит суждение Лурье, очень удачно определяющее характер петербуржца: сдержанная ирония, эрудиция, несколько манерная вежливость и неожиданная взбрычливость, наша гвардейско-разночинная кичливость всегда будет радовать или раздражать провинциалов и москвичей.

Можно выделить основные черты лингвокультурного типажа «петербуржец» в русском языковом сознании (автор приводит слова Ю.А. Васильевой и Л.Г. Золотых): аристократизм, сдержанность, замкнутость, мечтательность, индивидуализм, пренебрежительное отношение к материальным ценностям. «Типичный» петербуржец видится прежде всего как интеллигент и традиционалист. Основными образно-перцептивными и оценочными характеристиками являются: спокойствие, отсутствие агрессии, суетливости, немногословность, консерватизм, вежливость, воспитанность, гордость за свой город, любовь к нему, внутренняя культура, закрытость, скованность.

Таким образом, заключает автор, не будет слишком большой натяжкой, если мы скажем, что образ настоящего петербуржца в общественном мнении горожан во многом совпадает с идеальным образом интеллигента с одним обязательным дополнительным условием – любовь к своему городу. Следует обратить внимание на то, что в этом случае понятие «интеллигент» никак не связано с сословно-профессиональной принадлежностью, занятостью в сфере умственного труда и т. д.

Город слишком многолик, населяющие его люди различаются национальными особенностями, темпераментом, уровнем образования и культуры, жизненными целями, наконец, чтобы придерживаться одной-единственной модели идентичности. И все же, заключает автор, давайте стремиться к тому, чтобы не только сберечь

образ «настоящего петербуржца», который складывался на протяжении всей истории города, но и к тому, чтобы этот «идеальный тип» все больше сохранял в себе реальные черты, был примером для подражания другим группам и общностям России.

За семьдесят лет коммунистического правления Петроград-Ленинград успешно ассимилировал и демобилизованных после двух страшных войн, и крестьян из доведенных до голода и полной нищеты деревень, и евреев из белорусско-украинских местечек. С начала 1970-х гг., когда «начался массовый завоз так называемых лимитчиков, городской характер стал быстро портиться». Но если за полвека коммунистического правления город сумел ассимилировать огромные миграционные волны, то почему он не сможет сделать это теперь? – спрашивает исследователь. Кроме того, население Петербурга во все времена увеличивалось за счет приезжих, о чем свидетельствуют многочисленные источники. По нашему мнению, автор несколько упрощает проблему – таких огромных миграционных волн раньше не было, и неизвестно даже приблизительно, как будет решаться такая проблема.

Существенно расширяет наши представления об исторической памяти и российской идентичности исследование М.В. Ковалева и В.С. Мирзеханова «Историки зарубежной России: модели времени и жизни».

Революция 1917 г. и последовавшая за ней Гражданская война привели к оттоку значительной части образованных людей (до четверти профессорско-преподавательского корпуса) и формированию уникального исторического феномена – Зарубежной России. Эти события драматически отразились на судьбе гуманитарного знания, а особенно на исторической науке, естественный ход развития которой был прерван. За пределы России, пишут авторы, попали десятки ученых-историков. Все они были свидетелями колоссальных социальных, политических, экономических и культурных сдвигов. На их глазах рушился прежний мир, изменялись общественные отношения, возникла новая иерархия ценностей, создавались новые идеологические конструкты. Переживаемые потрясения отразились не только на личных судьбах ученых-историков, которым пришлось резко перестраивать жизненные программы, но и на их научном творчестве.

История должна была служить инструментом связи поколений. Эта ее функция особенно подчеркивалась перед лицом угрозы быстрой денационализации русской молодежи за рубежом. В случае Зарубежной России можно говорить как об исторической памяти диаспоры в целом, так и о памяти военных и ученых, либералов и консерваторов, детей и взрослых и др. Помимо общей историче-

ской памяти, у каждой из этих групп была своя память о России и ее истории, Поэтому эмигрантская среда стала благодатной почвой для зарождения и развития разнообразных политических мифов. Их базовой основой почти всегда становилась отечественная история, в которой эмигранты пытались найти ответы на злободневные современные вопросы. Значительная часть ученых вполне осознанно участвовала в их создании, желая обосновать особую эмигрантскую идентичность и попытаться сконструировать идеальное прошлое и будущее. Таким образом, диаспора создавала новый образ истории своей родины, особую культуру памяти о прошлом, особые модели времени.

1. Многим изгнанникам казалось, будто на их глазах рушится не просто русская государственность, но все устоявшиеся обычаи и традиции, разрушается сама душа русского народа. Они стали свидетелями и участниками столь глобальных исторических потрясений, что осмыслить их было очень трудно. Еще сложнее было понять истоки этой катастрофы, осознать ее глубинные причины и найти в истории моральные опоры. Ведь все они, из первой волны эмиграции, родились в XIX в., для них Петр Великий выступал символом государственности, Сергей Радонежский – духовности, а Александр Пушкин – символом всей российской культурной традиции. Они как бы не заметили, что после революции, разрухи и модернизации мир изменился и нужно приспосабливаться к изменившемуся миру. Разумеется, это не касалось таких столпов науки и философии, как Н. Бердяев, С. Франк, Л. Шестов, чьи работы вполне соответствовали уровню западной культуры.

2. Миф о потерянной Родине. Каждый образованный человек в эмиграции стремился создать новый, удовлетворяющий его, образ России. Бегство в прошлое должно было не только излечивать душу, но и пробуждать чувство национальной гордости. На первый план выходил культ выдающихся исторических деятелей, «великих строителей России», «зодчих русской культуры», как называли их сами эмигранты. Их образы становились своего рода «идеальными типами», призванными служить моральным примером для современников.

3. Многие историки вольно или невольно участвовали в создании замешанного на культурном мессианизме эмигрантского мифа, который подкреплялся их личным опытом. Эти черты придавали русской науке за границей идеологизированный характер. Он выражался, к примеру, в желании противопоставить свободное интеллектуальное творчество, возможное, по мнению изгнанников, лишь на чужбине, рабскому и приниженному положению науки и ученых в Советской России. В то же самое время эмигранты

стремились понять трагический опыт своих коллег, оставшихся на Родине, но духовно не принявших большевизм. Они пытались проанализировать сам феномен развития науки в условиях идеологической несвободы.

4. Само изгнание привело к созданию нового, часто идеализированного образа России, ее народа и культуры и переосмыслению их исторического пути. Так рождались концепции российской самобытности, стремление обосновать особенность российского исторического пути. Самым заметным и влиятельным из этих идейных конструктов стало, конечно, евразийство.

Несмотря на противоречивость философских, культурных и идеологических установок, русских ученых за границей, пишут авторы, объединяла мысль о необходимости сохранения, развития и приумножения достижений дореволюционной гуманитарной науки. Всех их роднила любовь к истории и стремление заниматься исследовательской работой даже в экстремальных жизненных условиях.

Говоря в целом о книге, нужно отметить актуальный характер многих проблем, которые в ней поднимаются: расцвет национальных государств и проблема исторической памяти, возможности объективной исторической науки и политика памяти, геополитическое соперничество и изучение культурной сложности современного мира. Ни одно общество не может игнорировать те проблемы, те вызовы, которые перед ним ставит время.

### *Литература*

---

Тишков, Пивнева 2018 – Историческая память и российская идентичность / Под ред. В.А. Тишкова, Е.А. Пивневой. М.: РАН, 2018. 508 с.

### *References*

---

Tishkov, V.A. and Pivneva, E.A. (eds.) (2018), *Istoricheskaya pamyat' i rossiiskaya identichnost'* [Historical memory and Russian identity], RAS, Moscow, Russia.